

НЕ ДЮЙМОВОЧКА

НОВЕЛЛА ИЗ РОМАНА

Павел КРУСАНОВ



Павел Васильевич родился 14 августа 1961 года в Ленинграде.

В первой половине 80-х — активный участник музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба.

Автор девяти романов и нескольких сборников малой прозы. Отдельные произведения переведены на сербский, словацкий, болгарский, немецкий, итальянский, английский и китайский языки.

Лауреат премии журналов «Октябрь» (1999) и «Дружба народов» (2019). Четырежды финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010 и 2014). Финалист премии «Большая книга» (2010). Лауреат премий «Созидающий мир» (2020) и «Гипертекст» (2022).

Живёт в Санкт-Петербурге.

Красоткин через идею тайного добра внёс в мою жизнь большую загогулину.

Что говорить, до того застолья с Емелей Красоткиным в «Блиндаже» я жил довольно просто — с огоньком, но, скажем так, линейно. Красоткин через идею тайного добра внёс в мою жизнь большую загогулину.

Первый шаг оказался неожиданным. Спустя некоторое время после той знаменательной беседы Емеля рассказал, что был недавно на встрече одноклассников и с той поры всё время думает об одной девице — о Кате Кузовковой с задней парты. В хорошем то есть направлении — как, думает, ей помочь. Врачи нашли у неё предрасположенность к сахарному диабету, и эта самая предрасположенность печально нарастает. А ей всего-то двадцать с небольшим! Она тоже сейчас в СПб — работает и учится на заочном в университете Герцена. Девчонка славная: добрая душа, затейница, веселушка, в хоре школьном пела звонко... И скромная, не навязывает окружающим своего существования. Беда только — в ней центнер

веса. Надо непременно избыток тела... того... Иначе диабет её сожрёт. А ей никак... не хватает волевого усилия — только булочку сладкую или батончик карамельный с орехами увидит, теряет над собой всякий контроль. А булочки и батончики эти — в каждой витрине. И вообще повсюду.

— Придётся поспособствовать, — сказал он.

— Как тут поспособствуешь? — я удивился.

— Очень просто. — Красоткин с прищуром улыбнулся, будто кот на пригреве. — Любовь чудеса чудесит.

— Ха-ха! — я хохотнул. — А кто счастливчик? Что-то равновесное? Какой у голубчика удельный вес?

Емеля посмотрел с укором.

— Да ты уже одурел совсем... от буйного счастья продолжения рода! — (У меня по той поре сразу две лирические истории сложились. Ребром стояла проблема выбора. Я с Емельяном поделился.) — В тебя она должна влюбиться! Понял? В тебя, голубчика...

— В меня? — опешил я.

Сначала подумал: шутит. Однако Красоткин не шутил. Тогда я возразил: мол, я с бестиями этими только по зову сердца. Что я, жиголо по вызову? Девушка во мне должна зажечь чувства. А ты говоришь: там центнер... Никогда! Пышки не зажигают моих чувств.

— Нет, — сказал Емеля, — ты не жиголо. Ты Парис, соблазнитель чужих жён.

— Так она ещё и замужем!..

Я был смущён. Так смущён, что даже не обиделся.

* * *

Катя Кузовкова была не замужем — я Красоткина неверно понял. Он имел в виду, что я не жиголо, а бескорыстный обольститель (это потом уже обольщённые девы станут чужими жёнами, о чём, естественно, ни я, ни кто другой, за исключением Емели, не думал), но высказал эту в целом правильную мысль неоднозначно.

Однако верно ведь, всё так и есть — бескорыстный обольститель. В том смысле, что не приемлю корысть вещественную, не жду в награду ни денег, ни чего-то в товарном виде. Награда здесь другая... такая, что в ожидании её мышинной дрожью бьёт колени. Вот говорят о том, кто сильно нервничает в ожидании чего-то: дрожит, как девица в опочивальне. А что, только девиц то самое... то самое предчувствие манит, томит и в трепет обращает? Не только, нет. Трепещет каждый... если, конечно, не большой руки прохвост.

Это потом, уже пообтеревшись, понимаешь, что всё происходящее между тобой (каким-то тобой абстрактным) и ней (абстрактной тоже) в постели даёт сиюминутную отраду — здесь и сейчас, и никогда ничего не обещает в будущем: ни любви, ни мудрости, ни героической смерти. И даже не переносит

Однако верно ведь, всё так и есть — бескорыстный обольститель. В том смысле, что не приемлю корысть вещественную, не жду в награду ни денег, ни чего-то в товарном виде. Награда здесь другая... такая, что в ожидании её мышинной дрожью бьёт колени. Вот говорят о том, кто сильно нервничает в ожидании чего-то: дрожит, как девица в опочивальне.

тебя на острова блаженных, а даёт лишь смутное представление об их существовании. Такая торопливая экскурсия в авто без остановок. Экскурсия, которая тебя никуда не привозит, но, сделав круг, возвращает обратно, туда, где до того и куковал. Какая всё же злая ирония таится в уместном к этому случаю глаголе «познать».

План у Емели был следующий... Собственно, никакой даже не план, а так, соображение. Типа она грустит в зябком одиночестве, в тихой печали от неполноты жизни, обусловленной её избыточной телесной полнотой, а тут — я в балетных туфлях... Словом, я должен был явиться перед очи Екатерины неотразимым образом. Так нарисоваться, чтобы не стереть. Чтобы она беззаветно мной прельстилась. Беззаветно и — что делать, раз пышки мне не по сердцу — безответно. А дальше эта безответная любовь сама её пожаром иссушит.

Мне не понравилась идея. Я представлял себе свиную тропу иначе. Совсем не так. Но Емельян уговорил.

— А что, если от безответной любви, — последний раз возроптал я, — она впадёт в хандру и чёрную тоску? Впадёт и на сладкие булочки набросится? Её ведь только шире разнесёт.

— Нет, — возразил Красоткин, — этого мы не допустим. Если дела пойдут не так, будем корректировать усилия.

Ночью мне приснилась незнакомая, очень толстая девушка. Дрожащие ляжки, бугристые от целлюлита, будто слепленные из комковатой манной каши, чудовищный живот, складчатые валики на боках, белая тяжёлая грудь, влажные, постоянно потеющие ладони, заплывшие глаза-щёлки и этот запах — запах жиром сочащегося тела... И всё это любит, и всё это меня жаждет! Какое тут сладострастие?! Бежать, бежать!.. Во сне я испытал неимоверный ужас. Малодушно? Быть может. Но я не контролировал себя. Мне даже захотелось перестать дышать.

Утром я решил: нет, нас ждёт поражение — такие толстые любить не могут. Это невозможно. У них должна срабатывать природная защита от любви: техника безопасности — щёлк! — и перегорает предохранитель, тот, что оберегает психику от перегрева, не даёт ей пойти в разнос. В них, в непомерно толстых, любовь должна задохнуться, придавленная гнётом сала. А если нет, если она всё-таки не задохнулась, оказалась выносливой, двужильной, то им же, жирным, хуже — никто их не полюбит. Ну, разве что такой же жирный — от безысходности. А это надо? Любовь — предмет эфемерный, нежный, большой вес её расплющит разом. Как задом на соломенную шляпку сесть.

Так я подумал. И ошибся.

* * *

— Да, вот такая, не Дюймовочка, — сказала Катя Кузовкова в ответ на мой нескромный взгляд.

Утром я решил: нет, нас ждёт поражение — такие толстые любить не могут. Это невозможно. У них должна срабатывать природная защита от любви: техника безопасности — щёлк! — и перегорает предохранитель, тот, что оберегает психику от перегрева, не даёт ей пойти в разнос.

Однако по порядку.

Она работала продавцом в зоомагазине. Осведомлённый Красоткиным, я в зоомагазине зашёл. Её увидел за прилавком, верх которого частично был заставлен клетками с пернатыми и грызунами, а застеклённый низ — разнообразными домишками и когтедралками для гастрономических ценителей тех, кто сверху попискивал и свистел. Катя стояла на фоне пакетов с кошачьими портретами — выставка сухих пайков, впрочем, неспособных смирить природные инстинкты мурлык, избражённых на них. Пахло зоопарком. Можно было предположить, но почему-то удивился.

Что сказать? Дела оказались не так уж плохи, по крайней мере, в отношении того, что возвышалось над прилавком: ни рыхлости, ни складчатых зобов, ни отвислых валиков там, где бывает талия, ни заплывших век... Невольно в мыслях её раздел. Такой тугий пузырик получился. И взгляд весёлый. Даже мила. Нет, не героиня моего романа, разумеется, — тела всё же слишком много, — но и не ночной кошмар.

Следя за моими оптическими изысканиями, она сказала:

— Да, вот такая, не Дюймовочка. Чего-то хотите или дождь переждать зашли?

Снаружи небо и вправду с самого утра то кропило, то поливало город октябрьским дождём. И я действительно был без зонта — волосы слегка намокли, и куртка потемнела на плечах и на груди.

— Пережду, — ухватился за предлог. — Позвольте? Грянул потоп, — кивнул на окно, в раме которого плыла сквозь небесные воды улица Декабристов, — а я сегодня без ковчега...

Пузырик улыбнулся.

— Пожалуйста. Человек — не рыба. — Катя, в свою очередь, кивнула на аквариумы с пёстрой мелочью, стоящие на стеллажах вдоль стены: компрессоры качали в воду кислород, водоросли колыхались, рыбки шныряли или важно помахивали вуалевыми хвостами. — Он — почти что сахар.

Посетителей в магазине не было, только я и она. Что ж, нрав у пузырька оказался живой, общительный, она не прочь поболтать с незнакомым человеком — надо было закреплять успех. Однако усилий не потребовалось.

— А вы не замечали, сахарный человек, что в центре города дождь не такой, как на окраинах? — Вопрос застал меня врасплох. — Я, знаете, не люблю дождь. Он мокрый и почти всегда холодный. Но здесь, в центре, дождь другой. Не то что на Гражданке, в Купчине или в тридевятиом Кудрове. Здесь дождь... добрее, что ли. Не бьёт в лицо, не оскорбляет, не грубит. Он такой... мягкий, будто разговаривает.

Вот оно, подумал, невозможное сочетание крупной формы и нежного, хрупкого содержания. Вот такая она, Россия... противоречивая.

Вот оно, подумал, невозможное сочетание крупной формы и нежного, хрупкого содержания. Вот такая она, Россия... противоречивая.

— Не замечал, — признался. — Но теперь придётся приглядеться...

Тут, как и было задумано, в магазин, тряся сложенным зонтом, зашёл Красоткин. На встрече одноклассников он пообещал Кате сванской соли. Уж где он её брал, в какой такой Сванетии — бог весть.

Сначала он меня как будто не увидел. С приветливой улыбкой, овеванный свежим запахом небесных вод, Емеля устремился к Кате. Передал пёструю соль в баночке из-под горчицы. Сморозил какую-то шутку (я не расслышал — Катя рассмеялась). Вспомнил про им двоим известную Бобылкину... Мне оставалось ждать, постукивая пальцем по стеклу аквариума: целил лупоглазому риукину* в лоб.

— Саша? — обернувшись, Красоткин словно бы неожиданно опознал во мне меня. — Вот те раз! Ты как здесь? Завёл домашнюю скотину?

— Скажешь тоже... — Я пожал Емеле руку. — В доме довольно одного кота, — сострил, имея в виду себя. — Мать нож от мясорубки наточить просила...

— Катя, — он к Кате обратился, — ты тут и за точильщика?

— В Дом быта шёл, — пояснил я (по соседству, на углу Декабристов и Лермонтовского, в ту пору действительно находился Дом быта, набитый кучей полезных услуг). — Там точат. Но ливануло — не дошёл. Вот, — кивнул в сторону прилавка, — девушка переждать любезно разрешила.

Катя-Пузырик с интересом на нас смотрела.

— Катюша, это Саша, — представил меня Емельян. — Мы вместе с ним грызём гранит на историческом. А это, Саша, одноклассница моя, Катюша. Вот вам и город Петербург — не разминуться!

— Очень приятно, — сообщил, хотя ещё не разобрал, приятно мне или тоска щемит от роли, отведённой здесь для меня.

— И мне, — сказал Пузырик. — И мне приятно. — И сразу — по-приятельски на «ты»: — Ты, значит, мамины котлеты любишь?

Вот оса! Тут, помнится, твёрдо решил: я иссушу тебя, я сожгу твой жир, я вызову на тебя огонь!

* * *

Дело было сделано — Красоткин познакомил нас. Спешить, однако же, не стоило, в тот день знакомством только и ограничилось.

Когда я говорил (точнее, говорил Емеля), что совиная тропа требует от ступившего на неё определённых правил поведения, что я (он) имел в виду? А вот что. Мир тайного добра, чурающийся не только какого-либо достоверного присутствия и оглашения, но даже малейшего намёка на своё существование, в противовес распущенности мира повседневной суеты требует от своих подданных стойкости (не разболтать),

На встрече одноклассников он пообещал Кате сванской соли. Уж где он её брал, в какой такой Сванетии — бог весть.

* Селекционная порода золотой рыбки.

нравственной собранности и, так сказать, инстинкта самоуважения, не нуждающегося в стороннем одобрении. Короче, читай «Генеалогию морали» — этика господ. По мнению Красоткина, мне этим следовало заняться (не читать — читал уже, — а нравственно собраться и от ярма чужого мнения освободиться).

И действовать теперь тоже следовало строго определённым образом, по законам свиной тропы. Как действовать? Шаг за шагом, целеустремлённо. Помогать тем, кто взывает о помощи, но особенно тем, кто помощи не просит, однако в ней нуждается. Если это мелочь, вроде милостыни, сделай так, чтобы твоё подаяние не указывало на тебя, — оставайся в глазах окружающих непричастным: пусть получивший милостыню благодарит Всевышнего, а не тебя. От мелкой чепухи он не вознесётся в небеса гордыни: дескать, я избранный и обо мне Господь печётся персонально. То же и во всём: выполняя чью-то сильную просьбу, сумей убедить того, кому помогаешь, что сам ты не имеешь к делу никакого отношения, — укажи в качестве адресата счастливое стечение обстоятельств. И тогда, обещал Емельян, когда подвиг тайного благодеяния кристаллизуется в тебе своим путём, ты обретёшь особого рода чувство, описать состав которого вряд ли возможно, потому что испытать его смертным доводится редко.

Про загадочное это чувство, думаю, хитрил Красоткин. А может быть, и нет. Тогда ещё я этого наверняка не знал. Зло, а тем более тайное зло, должно иметь мотив, тогда оно обоснованно и, стало быть, понятно. Живая природа (про мёртвую мне неизвестно) устроена по принципу сбережения энергии, хозяйской экономии затрат — это универсальный закон жизни, которому следует и микроб, и устрица, и кашалот. Избыток энергии допускается лишь при решении задачи сохранения себя как вида — здесь все средства хороши, поэтому всё живое расточительно в любви. Значит, зло тоже будет экономить на затратах, не станет изводить силы впустую. Но... взять Толкина: в его вселенной отсутствует политэкономия зла — мотивация гоблинов и орков на производство ненависти загадочна и потому недостоверна. А ведь должны быть механизмы поощрения чёрта за то, что он вовремя подкидывает дровишки под котёл с кипящим маслом. Иначе он начнёт фило- нить. То же и с добром. Оно бывает материально бескорыстным, но должно иметь мотив. Чувство, которое редко доводится смертным испытывать, — вот мотив Емели. Ему интересно было знать, что творится в сердце ангела.

А мне? И мне. Мне тоже было интересно. Хотя тогда, в начале нашего пути, я, скорее, не столько самостоятельно ощущал это желание внутри себя, сколько просто подпадал под обаяние его, Красоткина, речей. Но постепенно желание узнать, чем живо сердце ангела, укоренилось и во мне.

А ведь должны быть механизмы поощрения чёрта за то, что он вовремя подкидывает дровишки под котёл с кипящим маслом. Иначе он начнёт фило- нить. То же и с добром. Оно бывает материально бескорыстным, но должно иметь мотив.

И как, скажите, не подпасть под обаяние, когда он так ловко распутывал самые заковыристые узлы, что спорить с ним и сомневаться в его выводах хотелось уже хотя бы ради того, чтобы услышать его просветляющие разъяснения.

Немного отступил — возвращаюсь к делу.

В тот раз знакомством всё и ограничилось. Но через день, пока нелёгкая девичья память ещё свежа, мы снова повстречались с Катей Кузовковой. И снова будто невзначай. Я шёл от Лермонтовского по Декабристов к Театральной, она — от Театральной к зоомагазину. Открывать торговлю. Столкнулись нос к носу на мосту через Крюков канал. У меня была легенда: навещаю мать, которая живёт неподалёку, в «Доме-сказке». Хотя на самом деле я жил с родителями на улице Жуковского.

Да, вот ещё. Тут надо бы сказать... есть у меня такое наблюдение. Когда вы с девушкой вдвоём, выделяться, строить из себя того, кем не был и не будешь, не стоит — только портить дело. Будь собой, таким, каков ты есть, без лицедейства. И говори, что думаешь. Будешь собой — тебя или примут, или нет. Ты никого не сможешь разочаровать, поскольку никем другим не представлялся. А вот очаровать... искренностью слов очаровать очень даже возможно. Фальшь же всегда не к месту, если не с полной душой имеешь дело. Даже хорошо сыгранная (если возможно фальшь хорошо сыграть), она даст душок и всё равно откроется. А простодушие с наивностью — простятся.

Тут такое дело: говоря с человеком начистоту, от сердца, ты как бы открываешь дверку в заветное, туда, куда обычно не пускают. Где Али-Бабы пещера, полная доверчивых и ранимых чувств. Или просто детский *секретик*, который девочки мастерили раньше в земле под стёклышком. Помнится, было такое в двореком детстве... И получается, что у вас сложилась обща на двоих и со стороны никому не видная тайна. Небольшая, но — повторяю — обща. Это сближает. Вот *это* тебе доверили, а стало быть, могут, возможно, доверить много чего ещё... Такая перспектива притягивает, манит. Вот так же Катя поступила, высказав мне свои наблюдения о свойствах дождя. И я почувствовал, что меня пустили в заповедный край, о существовании которого другие, с ней незнакомые, ведать ничего не ведают. Они не ведают, а я... а я допущен. Короче, мир своего простодушия перед кем-то отворив, ты допускаешь собеседника к себе, в свой скрытый погребок, по сути — в самого себя. С учётом рокового различия полов это чревато многими последствиями.

Пожалуй, добавлю кое-что. Знаете, как манком-свистулькой подманивают птицу: утку или рябчика? Некоторые слова действуют на людей похожим образом. Особенно на женских. На женских людей. Но и на нас, зубров, действуют, конечно, тоже. «Люблю тебя», или «без тебя мне свет немил», или «все мысли — только о тебе» — это тяжёлая артиллерия. Иной раз срабатывает как наживка в капкане — р-раз, и вы оба в клетке.

Будешь собой — тебя или примут, или нет. Ты никого не сможешь разочаровать, поскольку никем другим не представлялся. А вот очаровать... искренностью слов очаровать очень даже возможно. Фальшь же всегда не к месту, если не с полной душой имеешь дело.

Но если действовать умело — вещь надёжная. Опасно, спору нет. Тем более что, как поведал нам Данте, за живые любовные клятвы сидеть грешнику вечно в вонючей жиже выгребной ямы, то и дело ныряя туда с головой, — как рот их, плутов любви, при жизни был полон сладкой лжи, так после полон смрадного дерьма. Такая участь постигла Таис Афинскую в восьмом круге ада, но чем мы будем лучше, последовав её примеру?

Есть манки с другим, более изящным, свистом: «не думал, что смогу ещё чему-то удивиться» или «я много в жизни повидал, но ты такая...». Глупости, конечно, однако же работает. А есть совсем простые заклинания: «глупышка», или «свет мой ясный», или «голубка», или «госпожа хозяйка», или вот это — «цветочек аленький». Вроде бы чепуха, пустяк, а сердце тает...

Некоторые скажут: чушь собачья, давно уже словам нет веры. Скажут и обманут. Сами как миленькие поведутся на эту дудочку. Подумать если: чтобы судить о замыслах, поступках, побудительных мотивах, требуется их взвесить, оценить. А все оценки состоят из слов. Из слов — и только.

— Саша, здравствуй! — Катя, увидев меня на мосту, улыбнулась во всю свою щекастую мордашку. — Помнишь, с Емелей в зоомагазине?.. Нож от мясорубки наточил?

— Помню, конечно. — Я тоже улыбнулся. — Спасла сахарного человека от потопа... Такое забывать нельзя. Память — главное, что у нас есть.

— Главное? — Она была настроена на лёгкий тон, на шутку и не ждала серьёзных поучений.

— После совести, разумеется. А если нет совести... А у кого она сегодня есть?

И я её в свой погребок впустил.

— По правде говоря, — сказал с душевным видом, как поподавший виды многомудрый пень, — память — единственное, что для человека важно. Просто туда не надо брать... хлам и мерзость. Понимаешь? Пусть она будет доброй, чистой, светлой... Только такая память вечная. Потому что память — это, Катя, и есть... другого слова не найти — любовь. В широком то есть смысле: мать, Родина, друзья... Ну и любимый человек, конечно. Я храню там только тёплое — то, что греет, как собачий свитер, как солнышко весеннее, как слово ласковое... Только это. И в памяти моей тепло. Разве не в этом счастье?

Кажется, я испугал её. Во всяком случае, она насторожилась. И впрямь, не настолько ещё мы были близки, чтобы открывать друг другу исповедальные глубины. Да и само соображение было сомнительного свойства. Случаются такие мысли, громоздкие и тесные, вроде того, как жить не по лжи, где взять деньги, бывает ли любовь чистой, — стоит заговорить об этом, и создаётся впечатление, будто загоняешь фуру в переулок, где потом мучительно пытаешься вырулить и развернуться.

Есть манки с другим, более изящным, свистом: «не думал, что смогу ещё чему-то удивиться» или «я много в жизни повидал, но ты такая...». Глупости, конечно, однако же работает. А есть совсем простые заклинания: «глупышка», или «свет мой ясный», или «голубка», или «госпожа хозяйка», или вот это — «цветочек аленький». Вроде бы чепуха, пустяк, а сердце тает...

— Впрочем, — я обратил исповедь в шутку, — с вечной памятью — это я погорячился. С годами к нам приходит не только опыт, но и герр Альцгеймер.

— Стало быть, я тёплая? — задумчиво спросила Катя, на лице её отражалось любое движение чувств: удивительно, при её полноте в своём жировом скафандре она была словно бы прозрачной.

— Тёплая, — кивнул.

— Как собачий свитер?

— Как слово ласковое.

На тугих её щеках полыхнул румянец.

— Ты была права — дождь на окраинах действительно другой, — снимая напряжение, напомнил ей о прошлом разговоре. — Вчера ездил на Гражданку в гости — так там дождина мне хамил, задирался, в драку лез. Еле отбился.

Смех у Кати был звонкий и заразительный.

— И нож наточил, — соврал. — Куда же мы без маминых котлет?..

По Крюкову каналу плыла пёстрая палая листва. Рядом громогдилась певучая Мариинка, напротив которой, через тёмную воду, в ту пору ещё не сложили кубик Второй сцены взамен ампириных колонн и башни сталинской «Пятилеточки»... Пару минут всего и поболтали, а, попрощавшись, разошлись приятелями. Легенда про мать из «Дома-сказки» осталась не востребованной.

И хорошо: поменьше б в жизни нам вранья.

* * *

В следующий раз мы повстречались спустя дня три-четыре. Катя в уличном ларьке у «Чернышевской» покупала «сникерс», а я... как водится, делал вид, что случайно здесь. То есть нет, не случайно. Оказалось (какая неожиданность!), мы оба идём в гости к Емельяну, который недавно переехал в новую нору — съёмную комнату в коммуналке на Радищева. По этому поводу затеяна пестринка — что-то вроде новоселья.

Подивившись вслух высокой концентрации счастливых случаев, ставших причиной наших частых встреч, я принятым порядком поинтересовался:

— Как поживаешь?

— Честно, но бедно, — ответила с достоинством. — Кручусь, как штопор. Так людоед один сказал. А как твои дела?

— Блестят. Не стоит ли поостеречься? — кивнул я на ореховый батончик. — Чтобы принцессой быть, девушкам мало одной внутренней красоты. А ты, Катюша, если... — замешкавшись, я классика призвал на помощь, — тебя сузить, чудо как мила.

На лице её отразилось такое искреннее страдание, что я на миг усомнился в правоте нашего с Красоткиным дела. Думал, сейчас пошлёт меня, куда и следует. Что мне до её романа

По Крюкову каналу плыла пёстрая палая листва. Рядом громогдилась певучая Мариинка, напротив которой, через тёмную воду, в ту пору ещё не сложили кубик Второй сцены взамен ампириных колонн и башни сталинской «Пятилеточки»...

с булочками и шоколадными батончиками? Я кто ей? Кум, сват, брат? Никто и звать никак. Но не послала. Напротив, одолев внутри себя несчастье, смутилась, и снова на щеках полыхнул румянец.

— Прости, — сказал. — Сую вечно нос куда не надо. Когда-нибудь прищемят.

— Пустяки. — Катя положила «сникерс» в карман широкого плаща. — Уже привыкла. Если и скажут комплимент, то лишь на вырост... То есть наоборот — сперва должна отсечь от этой глыбы всё лишнее, — она провела руками вдоль пышных боков, — чтобы соответствовать любезности.

— А дело в чём? — я проявил осторожный интерес. — Неправильный обмен вещев?

— Правильный обмен, такой, как надо. Меня родители к врачам водили. — Катя боязливо улыбнулась, словно опасаясь спугнуть воспоминание. — Я ведь не всегда была такой... Когда-то и талия своё место знала, и ножки как точёные... — («И талия» так произнесла, будто помянула страну-сапожок — отметил про себя.) — В шестом классе влюбилась по уши. До чёртиков. Самозабвенно. Как может только невинная девочка влюбиться. И он... Гуляли вместе. Дразнилки сыпались со всех сторон: «тили-тили-тесто»... Когда он меня бросил, всё как отшибло. Будто о веретено укололась, сделалась совсем другой. Слово подменили. Распухла, все девчоночьи мечты — коту под хвост. С тех пор — такая. — Она посмотрела мне в глаза с внезапным вызовом. — Но как же дальше-то? Ведь я хочу любить!

Вот так раз! Сочувствие моё было искренним:

— Катюша, цветочек аленький, да кто же запретит тебе...

Ответа не последовало.

Возле кафешки с игральными автоматами, щетиня бритые затылки, дымили табачком два быка в тренировочных костюмах. Тогда, как и сейчас, многие почему-то по городу как физкультурники ходили: в трико на резиночках... Странное было время, дурное, чёрное, задорное, взрывное. Смута. Такая, что ли, наизнанку революция — революция стяжания. С одной стороны, фейерверк творческих энергий, самовыражайся как в голову взбрёт, концерты, выставки, вечный праздник в сквотах художников и музыкантов. С другой — все, кто барыш и силу не исповедовал, оказались лишними, только косточки трещали в этой давилъне. А вслед за тем и паладины корысти стали жрать друг друга... Умом это понятно, но вот поди ж ты, взялся вспоминать, а вспоминается не то, не гнойное и злое, повывезавшее из всех щелей, а брызги молодости, озорной её задор. Как же ещё, раз мы туда, в память, лишь тёплое кладём?

Конечно же, Катя была права. Подспудно я так же думал. Что толку ей любить, если в ответ — недоумение, испуг или злая насмешка? Есть, правда, тут одна загвоздка... Не знаю,

Такая, что ли, наизнанку революция — революция стяжания. С одной стороны, фейерверк творческих энергий, самовыражайся как в голову взбрёт, концерты, выставки, вечный праздник в сквотах художников и музыкантов. С другой — все, кто барыш и силу не исповедовал, оказались лишними, только косточки трещали в этой давилъне. А вслед за тем и паладины корысти стали жрать друг друга...

как для Пузырика, но для многих женщин любовь — не цель, не счастье обрётённое, а только средство обрести его — желаемое счастье. Счастье семейной жизни. Как будто в этом замкнутом сосуде оно, счастье, будет поймано и запечатано навек, как ананас в сиропе — только тягай его оттуда ложкой! С чего бы это? Семейная жизнь — не консервная жестянка, не пожизненный компот...

Хотела ли Катя любить или видела в любви только средство — вопрос. Для того чтобы разрешить его, надо было глубже увязнуть в *отношениях*, а мне и без того затея с этим искренним и симпатичным (на выrost, *наоборот*) Пузыриком... ну, чтобы она прельстилась мной, была не по душе. Впрочем, как я понимал, в план Красоткина глубокое, так сказать, погружение тоже не входило.

В гости к Емеле явились вместе, как парочка — гусь да гагарочка. Там были ещё какой-то длинноволосый художник Василёк (так парня представил Красоткин) с бледной подружкой (глаза навывкате в обрамлении синих теней) и крепкий угрюмый поэт, похожий на человека, чьи угрозы сбываются.

* * *

В гостях вёл себя как кавалер: следил за Катиным бокалом, занимал беседой, сыпал корректными остротами. Она не раз моё внимание отметила благодарным взглядом.

Подружка художника оказалась из числа тех людей, рядом с которыми неприлично иметь проблемы собственные. Список её недугов, о которых она со скорбным наслаждением рассказывала, тянул на карманный медицинский справочник. Плюс, конечно, житейские ужасы: тирания отца, старшая сестра — психологический садист, одноклассники и одноклассницы — подлые крысята, сокурсники по институту — насильники и психопаты. Есть такие странные создания, в бедах которых всегда виноваты другие. Словом, если бы в ту пору был запрос на литературу травмы и возьмись она за перо — имела бы успех. В какой-то момент я даже подумал, что Емеля примет девицу на заметку в качестве объекта тайной опеки. Впрочем, решил после, здесь справится — напишет с неё Юдифь, перерезающую глотку сокурснику-психопату, тем сердце её и успокоится. Главное — побольше крови.

Длинноволосый художник и вправду, похоже, был смыслённый: ловил шутки на лету, брал и сам посылал подачи в застольном разговоре и время от времени, убирая спадающую на глаза чёлку, по-доброму, необидно подкалывал бледную жертву жизненных обстоятельств: «Заморыш ненаглядный...» Запомнилась рассказанная им история: оказывается, одна из картин Пита Мондриана более полувека выставлялась на вернисажах, а потом висела в музее Дюссельдорфа вверх ногами. Немудрено: геометрическая абстракция была исполнена на холсте полосками цветной клейкой ленты — не то что Малевич, сам Пифагор не отыскал бы, где у неё низ, где — верх.

Есть такие странные создания, в бедах которых всегда виноваты другие. Словом, если бы в ту пору был запрос на литературу травмы и возьмись она за перо — имела бы успех.

Угрюмый поэт время от времени острил одной и той же прибауткой: «Не болтайте глупостями». После чего надолго погружался в напускную созерцательность: за беседой-то всё-таки следил.

Сам Красоткин выступил образцовым хозяином: тапочки выдал, да и на столе были не только сухое красное и водка, но даже пара колбасных нарезок, сыр и вяленые щупальца кальмара, которые Катя-Пузырик тут же перекрестила в щупальца кошмара (поэт, показалось мне, моргнул, запоминая впрок зловеший образ).

Восполняя утраты, я в Катин бокал плеснул пино-нуар.

— Бургундское, — сказала Пузырик. — В Бургундии пино-нуар — козырный сорт.

— А я вина чего-то опасуюсь, — признался негромко, как бы только между нами.

— Водка не такая страшная? — спросила.

И тут я тоже показал, что Франция мне не совсем чужая:

— Как выпью бургундского, сразу вспоминаю «Трёх мушкетёров» и хочется кого-нибудь проткнуть шпагой.

Катя хорошо рассмеялась. Как-то счастливо, с полной чувств. Подумал даже, что я такого смеха не заслужил.

— Стыдно, — признался.

— Отчего?

— Красуюсь, как петух, гарцую...

— Не страшно, — Катя успокоила.

Но я уже отворил дверцу в погребок:

— И ладно бы красовался и делал дело, но делал бы и говорил своё... А то ведь всё... все труды и речи — всё взято со стороны, сдёрнуто по крохам у других, будь то живые люди или книги. А где же я? Где настоящий я? Ау! Ужасно сознавать, что никакого настоящего тебя и нет, ужасно...

Я по-прежнему говорил негромко, только Кате. И заработал в ответ долгий изучающий взгляд.

— Вот пластиковый бак, — вещал Емеля, играя пустой рюмкой и развивая мысль, зачин которой я прослушал, — он лёгок, его нетрудно перенести, подвинуть, его может опрокинуть ветер. Но наполни его водой, и он отяжелеет и упрётся. Так же и человек... — Красоткин со значением взглянул на Катю. — Подчас он не противится ни внешнему влиянию, ни собственным желаниям в виде... соблазна сладкой булочки или чего-нибудь похлеще. Но стоит любви наполнить человека, и та уже не позволяет ему сдать позиции — он тяжелеет, он упорствует, он на своём стоит. Это хорошая, вдохновенная тяжесть — так сказать, весомость самой жизни, спуд неодолимых природных чувств. Не будь в человеке тяжести любви, он был бы человеком перелётным. Как саранча. Как птицы, которые норовят свинтить по осени из мест, где родились. Те, которые знают, куда.

Но стоит любви наполнить человека, и та уже не позволяет ему сдать позиции — он тяжелеет, он упорствует, он на своём стоит. Это хорошая, вдохновенная тяжесть — так сказать, весомость самой жизни, спуд неодолимых природных чувств. Не будь в человеке тяжести любви, он был бы человеком перелётным.

— Но есть ведь и другие наполнители. — Художник Василёк рвал зубами щупальце кошмара. — Зависть, мнительность, страх...

— Да, — согласился Емельян, — бывает, что и страх наполнит... Но если страх вольётся в человека, он не воодушевит его — он его просто-напросто придавит. Придавит и обездвижит. Тяжесть страха — плохая тяжесть. Много чего могли бы люди сотворить, если бы их не подминали опасения.

Вот чем мне нравился Красоткин: аргументы у него никогда не иссякали.

— Не болтайте глупостями, Емельян, — вышел из спячки поэт. — Страх движет миром. И зависть. Зависть тоже им всю ворочает.

— Алёша у нас со всеми на «вы», даже с собственной кошкой, — дал для нас с Катей комментарий художник: мрачного поэта звали Алёшей.

— Вы, господин Василёк, метлу-то придержите, — невесть на что обиделся поэт Алёша. — Я человек городской, я в дикой природе василёк от цикория не отличу. И кто там из вас сорняк, мне по барабану.

— Вот те раз! — удивился Красоткин. — Даже с кошкой! Про кошку я не знал.

— Нет, не со всеми на «вы», — сдвинул брови Алёша. — Я с Богом на «ты». А остальных от Бога отделяю. Вы хотите, чтобы я вас вровень с Богом поставил?

Сказать тут нечего. Тут надо было помолчать.

Присутствующие, даже подружка художника, отягощённая под завязку претензиями к реальности и медицинскими подозрениями в отношении своего молодого организма, посмотрели на поэта с досадой. И в самом деле, что за пафос?

К концу застолья мы с Пузыриком уже несколько раз касались друг друга, вроде бы невзначай, но одновременно с трепетным значением. И слова — невиннейшие слова! — сказанные мною ей и ею мне, сами собой вдруг обретали какой-то волнующий подтекст. А ведь единственное, что я себе позволил, — это всё тот же безобидный «цветочек аленький»...

В коридоре и прихожей витал кислый запах старости: в коммуналке кроме Красоткина жили ещё два божьих одуванчика, две ветхие бабуся. Прощаясь с Красоткиным у входных дверей, Катя деликатно прижала к носу надушенный платок, защищая нежное обоняние.

По закону жанра я должен был Катю проводить. И проводил, конечно.

Пока ехали в метро, она рассказывала о себе. С ранних лет была очень правильная: обмануть ожидания окружающих — это невозможно, нельзя никого подвести, нельзя нарушить слово, не исполнить обещания, нельзя врать, подслушивать, брать чужое, опаздывать... Вот бы ещё принцессой стать и всех вокруг в себя влюбить, но если не выходит, то и ладно.

Но если страх вольётся в человека, он не воодушевит его — он его просто-напросто придавит. Придавит и обездвижит. Тяжесть страха — плохая тяжесть. Много чего могли бы люди сотворить, если бы их не подминали опасения.

— Вообще я из тех людей, — призналась Катя-Пузырик, — кого в хамстве и грубости больше всего пугает шум. Если бы те же самые гадости жизнь мне шептала на ушко, я бы чувствовала себя спокойнее.

Она жила у тётки, на улице Решетникова, недалеко от метро «Электросила», в монументальном сталинском доме. Там, в тёмной гулкой парадной, мы поцеловались. Подозреваю, что был неловок (я обнимал её, необъятную, и её грудь — серьёзная преграда — упиралась в мою, так что мне пришлось вытягивать шею вперёд, к её губам, будто между нами была подушка), но получился жаркий, очень жаркий поцелуй.

Из кармана своего широкого плаща Катя достала «сникерс».

— Возьми, — протянула мне. — Это теперь не самое желанное.

Захотелось выглянуть на улицу — проверить: вдруг в мире сдвиг какой произошёл — свернулись свитком небеса, и мёртвые уже из гробов восстали.

— Эй, алё, приём... заснул?

В сумраке парадной лицо её светилось.

* * *

В тот вечер подумал: какой я, к чертям собачьим, рыцарь тайного добра? Я даже не мелкий жулик, я — подлец что надо.

В тот вечер подумал: какой я, к чертям собачьим, рыцарь тайного добра? Я даже не мелкий жулик, я — подлец что надо. Почему? Да потому что из гулкой парадной на Решетникова поехал напрямик в картинную галерею на канале Грибоедова, где подрабатывал в ту пору ночным сторожем, охраняя вовсе не живопись, а, скорее, имеющуюся там оргтехнику: копир, принтер, сканер и пару компьютеров с массивными ламповыми мониторами (плоские плазмы ещё не народились).

Тут требуется экскурсия в предысторию.

Однажды хозяйка галереи Анна Аркадьевна, решительная женщина богемного круга, взявшая меня сторожем, чтобы охранял по ночам невеликое имущество, праздновала именины у себя в квартире на Мойке. Я тоже был приглашён. Думаю, случайно, просто подвернулся под руку в галерее.

Помнится, удивился, когда дома у Анны Аркадьевны обнаружил обезьяну. Живую. Какая-то мартышка, должно быть, — подробно не разбираюсь в этом племени. Она была на цепи (мартышка) — сидела в комнате на сундуке и от нечего делать этот сундук разбирала. Хороший старинный сундук с оковкой и резьбой. Обезьяна его колупала, скребла, гвоздики вытаскивала. (Говорили потом, кончилось тем, что от антиквариата ничего не осталось — разобрала до щепочки.) Мартышка эта отличалась крайней эмоциональностью: смотрела со своего сундука на тот бардак, что вокруг происходил, вертелась, взвизгивала, скалила клыки... Впрочем, к делу это не относится. Просто в доме была обезьяна. А ещё были на именинах фотографы, дизайнеры, два театральных режиссёра и, кажется, один муниципальный депутат. Ну и какие-то девицы. Хотя обезьяна лучше всех запомнилась.

Я за столом хорошо выпил. До того хорошо, что одну девицу приобнял в коридоре и потрогал. Мартышка на сундуке увидела и прямо в пляс акробатический пустилась. Но ожиданий мартышкиных я не оправдал: так просто приобнял, безо всякой перспективы. В конце концов, не для того здесь собрались. Из коридора отправился опять к столу.

Наверно, забыл бы этот случай, но потом, спустя короткое довольно время, звонит мне вечером в галерею эта девица, которую в коридоре трогал, и говорит: «Анна Аркадьевна дала мне телефон, где можно тебя найти». «Прекрасно! — отвечаю. — Ты хочешь что-то мне сказать?» «А что, если я к тебе приеду?» Подумал: вроде от дел не оторвёт, поскольку нет у меня неотложных дел, а нежности по той поре в организме столько, что через край хлещет. «Давай, — говорю, — приезжай». А я и, как звать её, не помнил.

Сию, сторожу. К ночи дело. И тут — звонок в дверь. Открываю. Стоит мужик. Я говорю: «Здравствуйте. Вы к кому?» — «К тебе». — «А какой вопрос?» Он говорит в рифму: «Гостей привёз». — «Где?» Он руку протянул — смотрю, у тротуара такси, и дверца открыта, а там, внутри, сидит эта девица. «Что же она не выходит?» — спрашиваю. «Так она пьяная в дым».

Ну, я её из машины извлекаю, а она с собой тащит здоровенный пакет. Оттуда торчит горлышко бутылки коньяка, и всё остальное, что требуется, там тоже присутствует. Я её, значит, забрал — с таксистом она, оказывается, расплатилась, только сама вылезти не могла. Проходим в галерею. Она, пьяненькая, садится на диван в диванной (так один из залов называли, где стоял диван, на котором сторож отдыхал). «Ты не знаешь обо мне самого главного, — говорит вместо “здрасьте”. — Меня зовут Ани Багратуни. — «Очень интересно. А я — Саша». — «Дело в том, что я армянская княжна. Я дочь родовитого семейства, и у меня братья — бандиты. Зарежут за меня любого». — «Хорошее, — говорю, — начало. И что ты предлагаешь?» — «Выпить». После чего, покопавшись, достаёт из пакета бутылку коньяка. А этих бутылок там — штуки три, не меньше. Потом закуски появились...

Выпиваем, а она всё чешет как сумасшедшая: княжеский род, ля-ля-ля, принцы Армении, ля-ля-ля, дом Багратуни, ля-ля-ля... Потом спрашивает: «Ну что, понравился тебе коньяк?» Я говорю: «Нормальная вакса». — «А закуска?» — «И закуска соответствующая». — «Ну, раз так, приступим к сладкому». И снимает с себя футболку и джинсы... Интересная такая княжна.

Минут через двадцать сообщила, что сладкого она наелась. Я — в общем, тоже. Привела себя в порядок, и ещё немного выпили. А в меня, признаться, коньяк этот уже не лезет. В конце концов удалось её как-то выпроводить.

Так бы и осталась княжна эпизодом, но неожиданно эта история получила продолжение. В следующую мою смену

Мартышка на сундуке увидела и прямо в пляс акробатический пустилась. Но ожиданий мартышкиных я не оправдал: так просто приобнял, безо всякой перспективы.

опять звонит в дверь таксист и говорит: «Забирай, к тебе приехали». Та же притча: опять она на кочере с таким же паке-том, полным коньяка и всяких яств. Ну и сама — на сладкое...

Не то чтобы у неё были какие-то необычайно выразительные, как у горной козочки, глаза, божественная грудь, как у Елены Прекрасной (по форме груди спартанской царицы изготовили чаши для алтарей храма Афродиты), и непревзойдённые лодыжки, но в целом — ничего себе девица, внимания вполне достойная. Как всякая армянка, была она в восторге от поглаживаний — в совершенное приходила восхищение. Очень ей нравилось, когда её тело трогают.

Какое-то время так и продолжалось. Недели три, должно быть. А потом стало меня это доставать. Не очень я пьяных девиц люблю, да и выпивать иной раз ну категорически не хочется.

Какое-то время так и продолжалось. Недели три, должно быть. А потом стало меня это доставать. Не очень я пьяных девиц люблю, да и выпивать иной раз ну категорически не хочется. Да ещё этот коньяк... Я его всегда терпеть не мог, а тут лакаем как зарезанные. Да и уши уже вяли от её рассказов о своём княжении, о том, какие у неё братья... Мол, они её и холят, и лелеют, и содержат, так что она никогда в жизни нигде не работала, ведь с такими братьями смысла нет работать. Сообразил потом, что и симпозиумы наши, выходит, оплачивала какая-то армянская братва... Но уточнять не стал.

Словом, Ани Багратуни сильное на меня впечатление произвела. Не скажу точно, сколько раз её таксист привозил, но, как писал классик, достаточное число...

* * *

Одновременно стремительной пружиной развёртывался ещё один сюжет (упоминал, что по той поре сразу две лирические истории сложились, — об этом речь). Незадолго до знакомства с княжной свела меня судьба на концерте «Колибри» в клубе Fish Fabrique с одной скромной девочкой. После весёлого представления позвал её с собой в галерею, а по дороге заглянули в кулинарию — надо же и тело питать: винегрет, говяжий отварной язык, два пирожка с яйцом и зелёным луком... «А что ты покупаешь? — спросила. — Мы с тобой это лопать будем?» — «Будем». — «Ах вот как!» — и ещё крепче взяла меня под руку. Её почему-то Жанной звали — не очень популярное в ту пору имя.

Прямой тонкий нос, узкий подбородок, живые серые глаза. Миленькая такая, миниатюрная шатенка, волосы всегда чистые и с блеском... Тоже звонила в галерею, спрашивала: «Ты очень занят?» Обычно, если княжны рядом не было, я честно признавался: мол, нет, какие могут быть дела важнее нашей встречи. «Тогда я еду», — сообщала. И уж если она приезжала, то не затем, чтобы вешать на уши лапшу, а чтобы заниматься делом. Была, правда, у неё одна особенность, которой я до сих пор не разгадал. Хотелось ей, чтобы в момент восторга... и в преддверии его... и вообще всегда... Словом, чтобы была вокруг какая-то особая торжественность: ковры,

шелка, Чайковский с Пуччини — и чтобы чёрные евнухи её опахалами обмахивали из страусиных перьев. Что-то в этом роде. Я ей говорю, что с евнухами будут сложности, а ковры... Вот плед, который на диване под тобой, — только это.

Такая была эта Жанна. И вместе с тем не дурочка, совсем не дурочка. Кино смотрела и много про него читала. Толк в нём какой-то находила, вникала в нюансы. Кажется, в режиссёры метила.

К чему я? А к тому, что разрывался. Две эти истории мешали друг другу, вносили в жизнь мою нервозность, всякий вздор, враньё и беспорядок. Надо было определяться. А тут ещё Катя-Пузырик, тайное милосердие... Говорить можно что угодно, но, как правило, люди куда больше нуждаются в комфортном убежище, в собственном тёплом угле для ночлега и жизни, нежели в романтической, но холодной и беспокойной свободе неба, волн и ветра. И увлечений избыточных. Из озорных и кровь волнующих, они, увлечения эти, тоже довольно скоро становятся холодными и беспокойными. И уже не увлекают. Совсем не увлекают. Наоборот — виснут обузой, душат. И хочется от них бежать в покой или куда подальше.

Когда в тот вечер, проводив Катю, приехал в галерею сторожить имущество, таксист, как назло, доставил гостью — Ани Багратуни с её неисчерпаемым пакетом.

Теперь точно не скажу, чем было вызвано моё раздражение: её ли бесконечными рассказами о княжеской судьбе и братьях-разбойниках или недовольством собой из-за того жаркого поцелуя в парадной, многообещающего поцелуя, который, как прекрасно было мне известно, не мог иметь продолжения, — но я твёрдо решил, что с армянской принцессой пора завязывать.

Вот почему написал, мол, что не мелкий жулик, а подлец что надо. Я то есть. Это обо мне. Потому что не о ней думал, не о княжне, как следовало бы ступившему на совиный тропу. Я думал о себе — определённо тут именно я нуждался в милосердии. (Какая только чепуха не заведётся в голове под музыку досады и уныния!)

Собравшись с духом, я сказал: «Познакомь меня со своими братьями». «Зачем?» — удивилась она. «Хочу жениться на тебе. Попрошу у них твоей руки».

В ту ночь за десертом она с томными стонами свела разговор к шутке, но, забегаая вперёд, скажу, что расчёт оказался верен: по счастливой случайности мы больше никогда друг друга не видели.

* * *

Красоткин тем временем развивал и двигал на все четыре стороны теорию тайного добра.

По сути, я — Парис — даю барышням то, чего они просят, рассуждал Емеля. И в этом тоже есть нечто от милосердия,

Говорить можно что угодно, но, как правило, люди куда больше нуждаются в комфортном убежище, в собственном тёплом угле для ночлега и жизни, нежели в романтической, но холодной и беспокойной свободе неба, волн и ветра.

какая-то его крупица. Но вершины мастерства идущий по совиной тропе достигает тогда, когда от нужд взывающих о помощи переходит к нуждам тех, кто ни о чём не просит. Ведь если человек не просит, это вовсе не значит, что он не обездолен. Он просто горд, или кроток, или празднует смирение, или силён той силой, которая позволяет ему держать свою нужду в узде внутри себя и не пускать наружу (что, по существу, то же смирение), но на деле он всё-таки взыскует — удачи, похвалы, внимания или того, о чём сам не догадывается, но о чём догадывается тайный покровитель. И в этом случае скрыто творимое добро имеет зачастую лучший результат из тех, на которые возможно рассчитывать, — хотя бы потому, что тут милосердие не ограничивает самостоятельности нуждающегося, но не просящего о помощи, а, наоборот, содействует обретению им внутренней уверенности в своих возможностях.

— А что это даёт тем... ну, другим... не молча нуждающимся, а тайное добро творящим? — спрашивал я Красоткина. — Ведь если даже чёрту требуется поощрение, чтобы пакостить, то доброхот тоже вправе ожидать какой-нибудь награды.

— Когда ты исполняешь тайные или явные желания своих прелестниц, разве ты остаёшься без награды? — коварно изворачивался Емельян. — Разве не знаешь, на какой полке ждёт тебя пирожок?

Потом всё же пояснял, вновь возвращаясь к тому, о чём говорил прежде: скрытое милосердие даёт такую настройку чувств, какая человеку бывает редко доступна. В частности, речь о вибрациях, которые ты теперь способен уловить. Уловить и, как живая мембрана, в тон им резонировать. Например, ощутить вибрацию тайного братства, к которому отныне принадлежишь и сам. Ведь если ты увидел результат собственного дружелюбного, но анонимного вмешательства в чужую жизнь — пусть даже масштабы этого вмешательства, как и его результат, смехотворны, — ты словно бы обретаешь иной взгляд на мир, на людей, на их историю. Многие события и свершения видятся уже как бы в ином свете. То есть получают дополнительную причину. Как минимум — возможность такой причины. Ведь как обычно происходит: тот, кто может, — увы, не делает, а тот, кто не может, — к превеликому сожалению, изо всех сил демонстрирует, как именно он не может. И тем не менее жизнь продолжается, история движется, свершения свершаются. Почему? Теперь ты понимаешь, поскольку можешь разглядеть, так сказать, недостающую массу, неучтённую тёмную энергию с отрицательным давлением, которая в действительности — энергия светлая и давление её положительное.

— Зачёт! — Я беззвучно хлопал в ладоши.

Емелья продолжал. И вот ты перебираешь имена: Ломоносов, Воронихин, Достоевский, Саврасов, Куинджи, Фет... Да мало

Потом всё же пояснял, вновь возвращаясь к тому, о чём говорил прежде: скрытое милосердие даёт такую настройку чувств, какая человеку бывает редко доступна. В частности, речь о вибрациях, которые ты теперь способен уловить. Уловить и, как живая мембрана, в тон им резонировать.

ли их! Перебираешь и тихо так сам себе улыбаешься. Потому что понимаешь: не с тебя всё это началось, что дела твоего тайного ордена тянутся в седую даль столетий! Что всё это время, состоя из людей, друг о друге, возможно, совершенно не сведущих, он, этот орден, незримо трудился! Где ещё, скажи на милость, найдёшь ты пример столь яркого проявления свободы воли человека? Столь очевидное её подтверждение? Ведь никто не отдаст тебе поручение и не взыщет за провал дела. Более того, никто не похвалит и не отметит проявленного тобой усердия. Ни личной благодарностью, ни пометкой в исторических хрониках. Воистину горизонт твоей свободы простирается в запредельную даль! Разве не так? Тайное благодеяние — незримый и неслышимый мотор нашего мира, мощная подземная река, питающая колодцы в человеческой пустыне!

— Замысел размашистый, — оценивал я речь Красоткина. — Просто раззудись плечо... Он требует от исполнителей беззастенчивой уверенности в своей моральной и интеллектуальной мощи, а также в силе прочих добродетелей. В глубине их бездны.

В ответ Емеля засвистел, как птичка. Мелодию я не узнал, но она была счастливая.

Мы стояли у исторического факультета, под аркой галереи Кваренги, на свежем ветру позднего октября, летевшем с Невы и подхватывавшем невесомые брызги трусившей с неба мороси, — истёк очередной учебный день.

— А что с Катей? — спросил я. — Может быть, хватит дурить ей голову?

Со времени новоселья, закончившегося нашим с Пузыриком поцелуем, уже прошло дней десять. За это время мы виделись с ней только дважды мельком на улице (снова организованная случайность): она была с подружками, а я — одинок, приветлив, но холоден. Так было нами с Красоткиным задумано.

— Согласен, — Емельян кивнул. — Миссия закончена. Теперь всё зависит от неё.

После чего достал из кармана куртки и протянул мне конверт.

Это сейчас бумажное письмо нас отсылает к ветхозаветным временам и пушкинской Татьяне. А между тем в ту пору, о которой речь, только-только на просторах русской равнины с её неброской красотой стали расцветать бледными цветами экраны компьютеров, и те ещё без электронной почты (когда появится, её назовут *емелей*), так что редкий студент мог бы таким добром похвастать. Про мессенджеры нечего и говорить — они вообще проходили по ведомству фантастики.

Итак, конверт. А в нём — письмо. Оно было адресовано не мне — ему. Но подразумевалось, что этим жестом — дал конверт — Емеля позволяет мне его прочесть.

Ведь никто не отдаст тебе поручение и не взыщет за провал дела. Более того, никто не похвалит и не отметит проявленного тобой усердия. Ни личной благодарностью, ни пометкой в исторических хрониках. Воистину горизонт твоей свободы простирается в запредельную даль!

— Вот, — сказал Красоткин, — сегодня утром соседка в почтовом ящике нашла.

На конверте не было ни марки, ни штемпеля, ни адреса — только печатными буквами от руки написано: «ЕМЕЛЬЯНУ КРАСОТКИНУ». Значит, доставил не почтальон.

Я вынул из конверта сложенный лист. Развернул.

«Емеля!

*Пишу, потому что при встрече не смогу сказать — в прах разре-
вусь, всю промочу тебе жилетку. Но и в себе держать нет сил. Та-
кая вот петрушка... В общем, спасибо тебе. Спасибо преогромное!
Ты познакомил меня с Сашей и, как перчатку, снял с моей жизни
кожу. Месяц назад и представить не могла, что дни мои обратят-
ся вот в это — в такое счастье, в такое пекло, в сладкий ад.*

*Я не шучу — я в самом деле тебе безумно благодарна! Теперь
я каждый день живу и умираю — такого вала чувств не знала пре-
жде, не представляла даже, что такое может быть. Все прежние
влюблённости — смех, балаган, потеха. А тут... Только увижу
его — сердце стучит с перебоем и душа впадает в птичий трепет.
Только подумаю о нём, и солнце становится ближе. Опалает как
будто. Ничего с собой поделатъ не могу — ликую ценячьим лико-
ванием, и хочется делиться радостью, делать другим приятное.
Подарить кому-нибудь что-нибудь. Неразлучникам насыпать
лишних зёрнышек. Бородатую агаму тараканом угостить... Вот
такая у меня любовь. Хочется совершать поступки — добрые, хо-
рошие поступки. Чтобы всем было радостно. И радоваться самой,
что это я, фея Катя, им эту радость подарила... Если, конечно,
бывают в сказках феи-пончики. А я теперь как в сказке... Только,
подозреваю, в грустной. Но всё равно при том волшебной, чудес-
ным сиянием пронзённой.*

*Ты умный, книжки мудрёные читаешь — скажи на милость,
разве это плохо? Разве не для этого даётся нам любовь? А мне го-
ворят: он тебе не пара. Как же так? Мне говорят такое, а я жить
без него не могу... Так не должно быть. Сил нет, как люблю. Люб-
лю и стану ему парой! В лепёшку расшибусь, а стану!*

*Прости меня, голова идёт кругом. Не надо было, наверное, тебе
писать. Но только внутри не удержать. Как горлом кровь, хле-
щит из меня моя любовь. Не буду больше. Саше пожелай счаст-
ливых дней. Ещё раз извини за этот плач — сейчас слёзы меня
сильнее. Но ничего, силёнки соберу и одолею... Про смерть мы уже
всё поняли: Спаситель объяснил, ему спасибо, — но что нам, ска-
жи, с разлукой делать? Вот бы глазами с тобой нам поменяться,
чтобы могла на Сашу смотреть, как ты, хоть каждый день.*

Невезучая-везучая толстушка с задней парты Катя».

Такой вот номер. Слов не было. Вернее, были, но не те: ка-
кие-то нечестные, пустые.

Письмо у меня Красоткин забирать не стал, сказал, мол, ясно
же, кому оно на самом деле адресовано. Не знаю... Возможно,

Прости меня, голова идёт
кругом. Не надо было,
наверное, тебе писать.
Но только внутри не удерж-
жать. Как горлом кровь,
хлещит из меня моя лю-
бовь. Не буду больше.

кто-то осудил бы его поступок (дал письмо прочесть), но лично я подспудно чувствовал его правоту: не он — настоящий адресат. Словом, письмо Емеля забирать не стал, просто поднял воротник куртки, развернулся и пошёл прочь, счастливый, как мотивчик, который насвистывал.

Он пошёл, а я остался под аркой галереи, потому что не мог осознать нахлынувших чувств.

Гудел ветер над Менделеевской линией, небо обложили низкие, глухие, беспробудные облака, пахло сырым палым листом, клёны, дубы и вязы за оградой здания Двенадцати коллегий, наряженные в багрянец и охру, нехотя кланялись осени. Пейзаж под стать той музыке, что звучала у меня внутри и на трель Емели ничуть не походила.

Будь под рукой бутылка вина, я бы поцеловал её в открытый рот.

Будь под рукой бутылка
вина, я бы поцеловал её
в открытый рот.
